

Золотая цепь

Автор:

[Александр Грин](#)

Золотая цепь

Александр Степанович Грин

Русский писатель Александр Грин силой своей фантазии создал прекрасные вымышленные миры, где живут красивые, сильные и благородные люди, где добро все-таки побеждает зло, где любовь ответственна и долговечна. Его роман «Алые паруса», ставший символом воплощенной мечты о счастье, дарит надежду на «обыкновенное чудо», которое все-таки случается в сплошной череде похожих друг на друга дней, составляющих тонкую нить нашей жизни. В книгу вошли также романы «Блистающий мир», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь» и рассказы.

Александр Грин

Золотая цепь

I

«Дул ветер...» – написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвет блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике «Эспаньолы». Это суденышко едва поднимало шесть тонн, на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы.

Все судно пропахло ужасом, и, лежа один в кубрике с окном, заткнутым тряпкой, при свете скраденной у шкипера Гро свечи, я занимался рассмотриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практичным чтецом, а переплет я нашел.

На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами:

«Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки».

Ниже стояло:

«Дик Фармерон. Люблю тебя, Грета. Твой Д.».

На правой стороне человек, носивший имя Лазарь Норман, расписался двадцать четыре раза с хвостиками и всеобъемлющими росчерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание Нормана и в самом низу оставил загадочные слова: «Что знаем мы о себе?»

Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит пчела – Грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с «Мелузины», напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов: «Я все знаю». Они высмеяли меня за то, что я читал книги, – прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.

Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки розовела вспухшая кожа. Я думал, так ли уж глупы эти слова «Я все знаю»; затем развеселился и стал хохотать – понял, что глупы. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в отверстие.

Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий как щелчки дождь бил в лицо. В мраке суетилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла «Мелузина»; там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о сказочной роскоши, подземных ходах и многом подобном. Я различал голоса Патрика и Моольса, двух рыжих свирепых чучел.

Моольс сказал:

- Он нашел клад.

- Нет, - возразил Патрик. - Он жил в комнате, где был потайной ящик; в ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта.

- А я слышал, - заговорил ленивый, укравший у меня складной нож Каррель Гусиная Шея, - что он каждый день выигрывал в карты по миллиону!

- А я думаю, что продал он душу дьяволу, - заявил Болинас, повар, - иначе так сразу не построишь дворцов.

- Не спросить ли у «Головы с дыркой»? - осведомился Патрик (это было прозвище, которое они дали мне), - у Санди Пруэля, который все знает?

Гнусный - о, какой гнусный! - смех был ответом Патрику. Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков в гавани. Он производил крепкое действие - в горле как будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, пуская дым через ноздри.

Мне следовало быть на палубе: второй матрос «Эспаньолы» ушел к любовнице, а шкипер и его брат сидели в трактире, - но было холодно и мерзко вверху. Наш кубрик был простой дощатой норой с двумя настилами из голых досок и сельдяной бочкой-столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только что слышанный разговор. Он встревожил меня, - как будете встревожены вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар-птица или расцвел розами старый пенек.

Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках, с бледным, ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, окованным золотыми скрепами.

«Почему ему так повезло, - думал я, - почему?...» Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к шкиперу, - с 17 октября, когда я поступил на «Эспаньолу» - по 17 ноября, то есть по вчерашний день. Я сам записал на ней

все вычеты из моего жалованья. Здесь были упомянуты: разбитая чашка с голубой надписью «Дорогому мужу от верной жены»; утопленное дубовое ведро, которое я же сам по требованию шкипера украл на палубе «Западного зерна»; украденный кем-то у меня желтый резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук шкипера и разбитое – все мной – стекло каюты. Шкипер точно сообщал каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку.

Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалованье. Мне не приходилось ничего получить. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого времени упорно решал вопрос – «кто я – мальчик или мужчина?» Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове «мужчина» – мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, – она сказала: «Ну-ка, посторонись, мальчик», – то почему я думаю о всем большем: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребятишках, о том, как надо басом говорить: «Эй вы, мясо акулы!» Если же я мужчина, – что более всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: «Дай-ка прикурить, дядя!» – то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?

Мне было тяжело, холодно, неудобно. Выл ветер. – «Вой!» – говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь. – «Лей!» – говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно, – не только мой счет с шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь и умру, мое неприкаянное тело...

II

Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху; но то не были голоса наших. Палуба «Эспаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было опуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», – ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. – «Ну, кто там?! – громче сказал первый, – в кубрике свет; эй, молодцы!»

Тогда я вылез и увидел – скорее, различил во тьме – двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядываясь, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал:

– Мальчик, где шкипер?

Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал – густо, окладисто, с хрипотой, – что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя ад!» – или: «Пусть перелопаются в моем мозгу все тросы, если я что-нибудь понимаю!»

Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные.

– В таком случае, – заявил спутник высокого человека, – не спуститься ли в кубрик? Эй, юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро.

Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса и слышен крик – песня – шепот: «Тайна – очарование! Тайна – очарование!» «Неужели началось?» – спрашивал я себя; мои колени дрожали.

Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей – они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, – и сидели согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок-палубу.

«Вот это люди!» – подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились – каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, – увы! – имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах; у высоких сапогов с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги.

– Поговорим, молодой друг! – сказал старший. – Как ты можешь заметить, мы не мошенники.

– Клянусь громом! – ответил я. – Что ж, поговорим, черт побери!..

Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безмерную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду.

– Ну, – сказал первый, – мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись потому, что немного выпили. – И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза.

Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение «Эспаньолы», я хорошенько не понял, – так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного, неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, опоздали благодаря этому на пароход «Стим», единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими; «Стим» уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем неотложное дело требует их на мыс Гардена или, как мы называли его, «Троячка» – по образу трех скал, стоящих в воде у берега.

– Сухопутная дорога, – сказал старший, которого звали Дюрок, – отнимает два дня, ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше... и ты повезешь нас на мыс Гардена, если хочешь заработать, – сколько ты хочешь получить, Санди?

– Так вам надо поговорить со шкипером, – сказал я и вызвался сходить в трактир, но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колени и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывая, говоря в такт этому волшебному звону.

– Вот твой заработок сегодняшней ночи, – сказал он, – здесь тридцать пять золотых. Я и мой друг Эстамп знаем руль и паруса и весь берег внутри залива,

ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковый билет. Тогда вместо одной галоши у него будут две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой «спрыснуть» отплытие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула – стать к рулю. Вообще, будет так ловко с ним, как, надев на ноги мешок, танцевать.

– Разве вы его знаете? – изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами.

– О нет! – сказал Эстамп. – Но мы... гм... слышали о нем. Итак, Санди, плывем.

– Плывем... О рай земной! – Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренно и со всем согласясь, так как все было правда и Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут.

– В таком случае... Вы, конечно, знаете... Вы не подведете меня, – пробормотал я.

Все переменялось: дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса, – два косых паруса с подъемной реей, снял швартовы, поставил кливер и, когда Дюрок повернул руль, «Эспаньола» отошла от набережной, причем никто этого не заметил.

Мы вышли из гавани на крепком ветре, с хорошей килевой качкой, и, как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг, верно, полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место или нет? Не пойму».

– Верно, то, – должен сказать, брат, – это то самое место и есть, – вот тумба, а вот свороченная плита; рядом стоит «Мелузина»... да и вообще...

Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться.

Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки, одна нога отставлена далеко, другая – под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня; в этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкапчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части (затем запираю), и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы.

– Клянусь брамседем, – сказал я, – славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?

– Что ж, это дело! – сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. – Эстамп, не принести ли вам стакан водки?

– Отлично, дайте, – донесся ответ. – Я думаю, не опоздаем ли мы?

– А я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой, – крикнул, полуобернувшись, Дюрок. – Миновали ли мы Флиренский маяк?

– Маяк виден справа, проходим под бейдевинд.

Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал:

– Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус.

– В моей семье не было трусов, – сказал я с скромной гордостью. На самом деле никакой семьи у меня не было. – Море и ветер – вот что люблю я!

Казалось, мой ответ удивил его, он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь.

– Ты, Санди, или большой плут, или странный характер, – сказал он, подавая мне папиросу, – знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?

– Вы должны любить, – ответил я.

– Почему?

– У вас такой вид.

– Никогда не суди по наружности, – сказал, улыбаясь, Дюрок. – Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?

Я как мог взросло покачал головой и ногой.

– У мыса Гардена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем сто шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время.

Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи.

– Ну, это как сказать, – ответил Дюрок рассеянно. – Боюсь, что нам будет не до тебя. – Он повернулся к окну и крикнул: – Иду вас сменить!

Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая заочневшие руки, сказал:

– Третья смена будет твоя. Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?

В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты!

– Что я сделаю? – переспросил я. – Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом.

– Вот как?! – сказал Эстамп. – А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей душеньке.

Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька – вырезанная из журнала женская голова, страшно пленившая меня, – лежит на дне моего сундучка.

Эстамп выпил, стал рассеян и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит «Эспаньола», сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает и грязненькая, тесная, как курятник, каюта ему противна. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности, «Томми», – и я басом поправил его, сказав:

– Санди, Санди мое имя, клянусь Лукрецией!

Я вычитал, не помню где, это слово, непогрешимо веря, что оно означает неизвестный остров. Захохотав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал: «Каково! Ее зовут Лукрецией, ах ты, волокита! Дюрок, слышите? – закричал он в окно. – Подругу Санди зовут Лукреция!»

Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый, поверхностный человек отважен и добр, – но в этот момент я ненавидел его наглые усики.

– Не дразните мальчика, Эстамп, – ответил Дюрок.

Новое унижение! – от человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно

покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню.

В это время Дюрок прокричал: «Поворот!» Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать», – сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил: «Есть так держать!»

Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни; о том, что «надо точно узнать». Я должен был крепко держать румпель и стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало «Эспаньолу», как качель, поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы «Эспаньолу» бегом, держа веревку в зубах.

Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом.

– Ну что, – сказал он, хлопая меня по плечу, – вот мы подплываем. Смотри!

Слева, в тьме, стояла золотая сеть далеких огней.

– Так это и есть тот дом? – спросил я.

– Да. Ты никогда не бывал здесь?

– Нет.

– Ну, тебе есть что посмотреть.

Около получаса мы провели, обходя камни «Троячки». За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и, когда это было наконец

сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной, огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты.

Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, – вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи.

Тем временем «Эспаньола» ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон; напротив, – резко, болезненно-весело и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу.

– Что Ганувер? – спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего. – Вы нас узнали? Надеюсь. Идемте, Эстамп. Иди с нами и ты, Санди, ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устройте его всесторонне, затем вам предстоит путешествие. – И он объяснил, куда отвести судно. – Пока прощай, Санди! Вы готовы, Эстамп? Ну, тронемся и дай бог, чтобы все было благополучно.

Сказав так, он соединился с Эстампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня.

III

Из его рта, ворочавшего, как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий, приятный голосок, подобный струйке воды:

– Ты капитан, что ли? – сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. – У, какой синий! Замерз?

– Черт побери! – сказал я. – И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?

– Это какую же такую историю?

Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца.

– Какую же это такую историю? Пойдем-ка, поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя.

С этим его рот захлопнулся – словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним.

От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блеснул свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и, когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх; еще ступени – мы прошли дальше – указывали поворот влево, я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве, со всех сторон и над головой ярко озаренном большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку, поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло как днем; три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где, казалось, некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит; пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды; здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь.

– Постой-ка, – сказал Том, – я поговорю тут с одним человеком, – и отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю, – меня толкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом, и уже несколько человек крикнули ворчливо-поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва

успел он меня выругать, как толстоногая девчонка, спеша, растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибор миндаля подлетел к моим ногам; в то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара – в другую и пробороздили миндаль рыбьим хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока наконец в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том.

– Пойдем-ка, – сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко; мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов.

– Я думаю, нам не помешают, – сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. – Ну-ка выпей, а там принесут, что тебе надо, – и Том передал мне бутылку.

Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, – так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой; вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом, в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома:

– Ему, что ли?

Том не удостоил его ответом, а взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался.

– Ты в лохмотьях, – говорил он, – вот мы тебя нарядим. Хорошенький ты сделал рейс, – прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. – Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь.

Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут, как из глины, лепить, что им вздумается. Оба мои пестуна

сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову вбок, трудится над чем-то очень внимательно.

Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем.

– Ты все знаешь? – пробормотал он, озадаченный, и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. – Санди! – кричал он, трясая злополучную мою руку. – А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?! Вот ловко! Джон, взгляни сюда, тут ведь написано бесстыднейшим образом: «Я все знаю»!

Я стоял, прижимая к груди рубашку, полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пестунов моих привлекли кучу народа и давно уже шли взаимные, горячие объяснения – «в чем дело», – а я только поворачивался, взглядом разя насмешников: человек десять набилось в комнату. Стоял гам: «Вот этот! Все знает! Покажите-ка ваш диплом, молодой человек». – «Как варят соус тортю?» – «Эй, эй, что у меня в руке?» – «Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона?» – «Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты!» – Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом, положила меня на обе лопатки, пропищав: «Папочка, не знаешь ты, сколько трижды три?»

Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, немного надо, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся – горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый.

– Кто бросил деньги? – сухо спросил он.

Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история.

– В самом деле, есть у него на руке эти слова, – сказал Том, – покажи руку, Санди, что там, ведь с тобой просто шутили.

Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после.

– Соберите ему деньги, – сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. – Это вы написали сами?

– Я был бы последний дурак, – сказал я. – Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня.

– Так... а все-таки – может быть, хорошо все знать. – Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи – куртка, брюки, сапоги и белье – были хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене.

– Когда вы поужинаете, – сказал Поп, – пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек, – прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.

– При случае в грязь лицом не ударю, – сказал я, упрятывая свое богатство.

Поп посмотрел на меня, я – на него. Что-то мелькнуло в его глазах, – искра неизвестных соображений. «Это хорошо, да...» – сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились; тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли, – я не понимал, хотя съел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я попытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю, – и что мне предстоит дальше?! Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что «если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую».

Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувство сопротивления и вопрос: «А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо, готовых подхватить „вилку“, выйду и вернусь на „Эспаньолу“, где на всю жизнь случай этот так и останется „случаем“, о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно „могшего быть“ и „неразъясненного существа“. Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце

стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску и, действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии.

Однако ничего подобного пока мне не предстояло, – напротив, случай, или как там ни называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной, – а, как я сказал, помещение было без двери, – ее заменял сводчатый широкий проход, – несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор, непонятный, но интересный, – вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие:

– Ну что, опять, говорят, свалился?!

– Было дело, попили. Спят его, как пить дать, или сам сопьется.

– Да уж спился.

– Ему пить нельзя; а все пьют, такая компания.

– А эта шельма Дигэ чего смотрит?

– А ей-то что?!

– Ну, как что! Говорят, они в большой дружбе или просто амурсы, а может быть, он на ней женится.

– Я слышал, как она говорит: «Сердце у вас здоровое; вы, говорит, очень здоровый человек, не то, что я».

– Значит – пей, значит, можно пить, а всем известно, что доктор сказал: «Вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком».

– Сердце с пороком, а завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?

– Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях.

- А что? Видел ты что-нибудь?

- Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, - нигде ничего нет.

- Да, поэтому это есть секрет.

- А зачем секрет?

- Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.

- Стану ли я еще тебя спрашивать?!

Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал:

- Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит. А видел - и он клянется - Кваль; Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая ухвертка, и лицо покрыла платком.

Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил:

- Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли, старику, заводить шашни. Кваль любит выдумывать.

Тут они вышли и подошли ко мне, - спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа, сказал:

- Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу.

Паркер был лакей, – я видел такую одежду, как у него, на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его и спросил. Он ответил:

– Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость.

Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь.

– Нет, – сказал он, – но я не в духе и буду придираюсь ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня.

Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением.

Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченная линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, – среди пересечения линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуте чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии, в соединении с цветом и светом, могут улыбаться, останавливать, задержать вздох, изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов.

Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу лент и цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери.

Он сказал:

– Санди, которого вы желали видеть, – вот он, – затем исчез. Я обернулся – его не было.

– Подойдите-ка сюда, Санди, – устало сказал кто-то. Я огляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом; они стояли, куря, подле камина и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет двадцати восьми, с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял Поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красива, и оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, – немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени.

– Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями? – произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. – Они, как приехали на твоём корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер; садись, Санди, ко мне поближе.

Он указал кресло, в которое я и сел, – не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но наконец укрепился.

– Итак, – сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, – ты любишь «море и ветер»!

Я молчал.

– Не правда ли, Дигэ, какая сила в этих простых словах?! – сказал Ганувер молодой даме. – Они встречаются, как две волны.

Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один – нервный человек с черными баками, в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его белое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, брит и в очках.

– Волны и эскадрильи! – громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня, рокошущим басом. – Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны; цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!

Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные, только Дюрок остался – с несколько мрачным лицом – безучастным к этой шутке и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мною и Ганувером.

– Что ж, – сказал он, кладя мне на плечо руку, – Санди служит своему призванию, как может. Мы еще поплывем, а?

– Далеко поплывем, – сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник.

Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне, – легонько подсмеиваясь или серьезно – я не разобрал. Лишь некоторые слова, вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль», запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Эстампом.

Эстамп обратился ко мне, сказав:

– А помнишь, как ты меня напоил?

– Разве вы напилась?

– Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку. Признавайся, – «огненная вода», «клянусь Лукрецией», – вскричал он, – честное слово, он

покаялся Лукрецией! К тому же, он «все знает» – честное слово!

Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился; я подметил каверзную улыбку Попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло.

Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменной обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, – тем хуже для них: опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах.

Уже я рассматривал себя как часть некой истории, концы которой запряваны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отрапортовал:

– Если я что-нибудь «знаю», так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное, – здесь я разорвал Попа глазами на мелкие куски, как бумажку, – я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому.

Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.

– Он мне нравится, – сказал Ганувер, – однако не надо ссориться, Санди.

– Посмотри на меня, – сурово сказал Дюрок; я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю. – С тобой шутили и ничего более. Пойми это!

Я отвернулся, взглянул на Эстампа, затем на Попа. Эстамп, несколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «Ба!» – и заговорил с неизвестным в очках. Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.

– Экий вы горячий, Санди, – сказал он. – Ну, здесь нет ничего особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра.

За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон выражаемой лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедшей с годами в способность верно угадывать отношение к себе впервые встречаемых людей, – но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Эстамп отделены от всех, кроме Ганувера, особым, неизвестным мне, настроением и что, с другой стороны, – дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний, – значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, к которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи с о с т о я н и й отдельных людей и групп теперешнее ощущение хранит верно.

Я впал в мрачность от слов Попа; он уже отошел.

– С вами говорит Ганувер, – сказал Дюрок; встав, я подошел к качалке.

Теперь я лучше рассмотрел этого человека, с блестящими, черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, может быть, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками:

– Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу, в библиотеку, там ты будешь разбирать... – он не договорил, что разбирать. – Нравится он вам, Поп? Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеда. Я сам был такой. Ну, иди. Не бери себе в поверенные вино, милый ди-Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй; все в порядке.

Я тронулся, Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дигэ:

– Этот молодой человек не в меру строптив.

Я не знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Гануверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали как команда в игре в солдатики:

– Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе, эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы.

Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо-красивое лицо, имевшее выражение как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо.

IV

Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках – так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но, кроме «туда», «сюда», не говорил ничего. Очутившись в библиотеке – круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле, – мы стали друг к другу лицом и уставились смотреть, – каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык.

– Вы отличились, – сказал он, – похитили судно; славная штука, честное слово!

– Едва ли я рисковал, – ответил я, – мой шкипер, дядюшка Гро, тоже, должно быть, не внакладе. А скажите, почему они так торопились?

– Есть причины! – Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. – Не будем говорить сегодня о библиотеке, – продолжал он, когда я уселся. – Правда, что я за эти дни все запустил, – материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... вы... одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?

– Как же, – сказал я, радуясь, что могу, наконец, удивить этого изящного юношу. – Я читал много книг. Возьмем, например, «Роб-Роя» или «Ужас таинственных гор»; потом «Всадник без головы»...

– Простите, – перебил он, – я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу, или, лучше, – послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату.

– Но где же я и что это за дом?

– Не бойтесь, вы в хороших руках, – сказал Поп. – Имя хозяина Эверест Ганувер, я – его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом.

– Может ли быть, – вскричал я, – что болтовня на «Мелузине» суцая правда?

Я рассказал Попу о вечернем разговоре матросов.

– Могу вас заверить, – сказал Поп, – что относительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменной судьбы.

«Творится невероятное», – подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери.

– Здесь помещаюсь я, – сказал Поп, указывая одну дверь и, открыв другую, прибавил: – А вот ваша комната. Не робейте, Санди, мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах, – сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. – Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги (а я как раз так и думал)? Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо.

Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкапом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за Попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро.

– Я думаю, вы устроитесь, – сказал Поп, оглядывая помещение. – Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра.

– О да, – сказал я, нервно хихикнув. – Пожалуй, что так. И чемодан и все прочее.

– У вас много вещей? – благосклонно спросил он.

– Как же! – ответил я. – Одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти.

– Пять?... – Он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. – Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить: если вы потянете шнур один раз, – по лифту, устроенному в стене, поднимется завтрак. Два раза – обед, три раза – ужин; чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном. – Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку: – Алло! Что? Ого, да, здесь новый жилец. – Поп обернулся ко мне: – Что вы желаете?

– Пока ничего, – сказал я с стесненным дыханием. – Как же едят в стене?

– Боже мой! – Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12. – Я должен идти. В стене не едят, конечно, но... но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно, как для вас, так и для слуг... Решительно уйду, Санди. Итак, вы – на месте, и я спокоен. До завтра.

Поп быстро вышел; еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги.

Итак, я остался один.

Было от чего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул; перевел дыхание. Потикиванье часов вело многозначительный разговор с тишиной.

Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история».

Обдумать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва появлялась связная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. Черт побери! – сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жажда вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: – кресло, диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало. – Я заглянул в зеркало. Там металось подобие франтоватого красного мака с блаженно-перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением моей душе. Но было тихо.

Я еще не переживал такой тишины – отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, – тридцать пять золотых монет, – но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но

вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения. Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкапов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавший: «Никого нет», – и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался – метнулся, прижавшись к стене между двух шкапов, где еще не был виден, но, если бы вошедшие сделали пять шагов в эту сторону, – новый помощник библиотекаря, Санди Пруэль, явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкапе, очень большом, с глухой дверью без стекол была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкапа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хотя стать за ее прикрытием, если шкаф окажется полон. Шкап должен был быть полон, – в этом я давал себе судорожный отчет, и, однако, он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрожа, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей.

Женщина была Дигэ, – с другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать, по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина – догадаться не составляло особого труда: мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэй и Дигэ.

– Я хочу взять книгу, – сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.

– Но здесь действительно нет никого, – проговорил Галуэй.

– Да. Так вот, – она, словно продолжала оборванный разговор, – это непременно случится.

– Ого!

- Да. В бледных тонах. В виде паутинных душевных прикосновений. Негреющее осеннее солнце.
- Если это не самомнение.
- Я ошибаюсь?! Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него.
- Так. Дальше! – сказал Галуэй. – А обещание?
- Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томсону. – Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня. – Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу... на всякий случай... Прелестное издание, – продолжала Дигэ тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон: – Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят... эти... эти.
- Кажется, старые друзья; кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде, – сказал Галуэй. – Что могут они сделать, во всяком случае?!
- Ничего, но это сбивает. Далее я не расслышал.
- Заметь. Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?
- Идиот!
- Я задал неделовой вопрос, только и всего.
- Если хочешь знать. Даже скажу больше, – не будь я так хорошо вышколена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, – страстишка. Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно.

– В таком случае, – заметил Галуэй, – я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томсону?

– То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка «Вас-ис-дас». Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.

– Он влопается.

– Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего, – по своей линии.

– Идем. Что ты взяла?

– Я поищу, нет ли... Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги.

– Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя.

Дигэ перешла часть пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылушил из непонятного все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода – куда! – хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии, с смелой надеждой, что пространство расширится, – безрезультатно. Наконец, я повернул ее влево. И произошло, – ну, не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? – произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкапа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал, коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в

разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

VI

Такое сожжение кораблей немедленно отозвалось в сердце и уме, – сердце перевернулось, и я увидел, что поступил опрометчиво. Пробовать снова открыть стену библиотеки не было никаких оснований, – перед глазами моими был тупик, выложенный квадратным камнем, который не понимал, что такое «Сезам», и не имел пунктов, вызывающих желание нажать их. Я сам захлопнул себя. Но к этому огорчению примешивался возвышенный полустрах (вторую половину назовем ликование) – быть одному в таинственных запретных местах. Если я чего опасался, то единственно – большого труда выбраться из тайного к явному; обнаружение меня здесь хозяевами этого дома я немедленно смягчил бы рассказом о подслушанном разговоре и вытекающем отсюда желании скрыться. Даже не очень сметливый человек, услышав такой разговор, должен был настроиться подозрительно. Эти люди, ради целей, – откуда мне знать – каких? – беседовали секретно, посмеиваясь. Надо сказать, что заговоры вообще я считал самым нормальным явлением и был бы очень неприятно задет отсутствием их в таком месте, где обо всем надо догадываться; я испытывал огромное удовольствие, – более, – глубокое интимное наслаждение, но оно, благодаря крайне напряженному сцеплению обстоятельств, втянувших меня сюда, давало себя знать, кроме быстрого вращения мыслей, еще дрожью рук и колен; даже когда я открывал, а потом закрывал рот, зубы мои лязгали, как медные деньги. Немного постояв, я осмотрел еще раз этот тупик, пытаюсь установить, где и как отделяется часть стены, но не заметил никакой щели. Я приложил ухо, не слыша ничего, кроме трений о камень самого уха, и, конечно, не постучал. Я не знал, что происходит в библиотеке. Быть может, я ждал недолго, может быть, прошло лишь пять, десять минут, но, как это бывает в таких случаях, чувства мои опередили время, насчитывая такой срок, от которого нетерпеливой душе естественно переходить к действию. Всегда, при всех обстоятельствах, как бы согласно я ни действовал с кем-нибудь, я оставлял кое-что для себя и теперь тоже подумал, что надо воспользоваться свободой в собственном интересе, вдосталь насладиться исследованиями. Как только искушение завиляло хвостом, уже не было для меня удержу стремиться всем существом к сногшибательному соблазну. Издавна страстью моей было бродить в неизвестных местах, и я

думаю, что судьба многих воров обязана тюремной решеткой вот этому самому чувству, которому все равно, – чердак или пустырь, дикие острова или неизвестная чужая квартира. Как бы там ни было, страсть проснулась, заиграла, и я решительно поспешил прочь.

Коридор был в ширину с полметра да еще, пожалуй, и дюйма четыре сверх того; в высоту же достигал четырех метров; таким образом, он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в дальний конец которой было так же странно и узко смотреть, как в глубокий колодец. По разным местам этого коридора, слева и справа, виднелись темные вертикальные черты – двери или сторонние проходы, стынувшие в немом свете. Далекый конец звал, и я бросился навстречу скрытым чудодейственным таинствам.

Стены коридора были выложены снизу до половины коричневым кафелем, пол – серым и черным в шашечном порядке, а белый свод, как и остальная часть стен до кафеля, на правильном расстоянии друг от друга блестел выгнутыми круглыми стеклами, прикрывающими электрические лампы. Я прошел до первой вертикальной черты слева, принимая ее за дверь, но вблизи увидел, что это узкая арка, от которой в темный, неведомой глубины низ сходит узкая витая лестница с сквозными чугунными ступенями и медными перилами. Оставив исследование этого места, пока не обегу возможно большего пространства, чтобы иметь сколько-нибудь общий взгляд для обсуждения походов в дальнейшем, я поторопился достигнуть отдаленного конца коридора, мельком взглядывая на открывающиеся по сторонам ниши, где находил лестницы, подобные первой, с той разницей, что некоторые из них вели вверх. Я не ошибусь, если обозначу все расстояние от конца до конца прохода в 50 футов, и когда я пронесся по всему расстоянию, то, обернувшись, увидел, что в конце, оставленном мной, ничто не изменилось, следовательно, меня не собирались ловить.

Теперь я находился у пересечения конца прохода другим, совершенно подобным первому, под прямым углом. Как влево, так и вправо открывалась новая однообразная перспектива, все так же неправильно помеченная вертикальными чертами боковых ниш. Здесь мной овладело, так сказать, равновесие намерения, потому что ни в одной из предстоящих сторон или крыльев поперечного прохода не было ничего отличающего их одну от другой, ничего, что могло бы обусловить выбор, – они были во всем и совершенно равны. В таком случае довольно оброненной на полу пуговицы или иного подобного пустяка, чтобы решение «куда идти» выскочило из вязкого равновесия впечатлений. Такой

пустяк был бы толчком. Но, посмотрев в одну сторону и обернувшись к противоположной, можно было одинаково легко представить правую сторону левой, левую правой или наоборот. Странно сказать, я стоял неподвижно, озираясь и не подозревая, что некогда осел между двумя стогами сена огорчился, как я. Я словно прирос. Я делал попытки двигаться то в одну, то в другую сторону и неизменно останавливался, начиная решать снова то, что еще никак не было решено. Возможно ли изобразить эту физическую тоску, это странное и тупое раздражение, в котором я отдавал себе отчет даже тогда; колеблясь беспомощно, я чувствовал, как начинает подкрадываться, уже затемняя мысли, страх, что я останусь стоять всегда. Спасение было в том, что я держал левую руку в кармане куртки, вертя пальцами горсть монет. Я взял одну из них и бросил ее налево, с целью вызвать решительное усилие; она покатилась; и я отправился за ней только потому, что надо было ее поднять. Догнав монету, я начал одолевать второй коридор с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел, так расстроюсь, что еще слышал сердцебиение.

Однако придя в этот конец, я увидел, что занимаю положение замысловатее прежнего, – ход замыкался в тупик, то есть был ровно обрезан совершенно глухой стеной. Я повернул вспять, рассматривая стенные отверстия, за которыми, как и прежде, можно было различить опускающиеся в тень ступени. Одна из ниш имела не железные, а каменные ступени, числом пять; они вели к глухой, плотно закрытой двери, однако когда я ее толкнул, она подалась, впустив меня в тьму. Зажегши спичку, увидел я, что стою на нешироком пространстве четырех стен, обведенных узкими лестницами, с меньшими наверху площадками, примыкающими к проходным аркам. Высоко вверху тянулись другие лестницы, соединенные перекрестными мостиками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/aleksandr-grin/zolotaya-cep>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)